

М. Литовская

ЗАКАВЫЧЕННЫЕ СЛОВА КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ ДЕТСКОГО СОЗНАНИЯ В ПОВЕСТИ В. КАТАЕВА «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»

В статье рассмотрена одна синтаксическая особенность повести В. Катаева *Белеет парус одинокий* (1936): использование кавычек для обозначения слов, непонятных взрослому герою. Этот прием, характерный для модернистской литературы своего времени, рассмотрен в контексте русских автобиографических и автопсихологических повестей о детях и подростках 1930–1990-х гг.

Ключевые слова: В. П. Катаев, *Белеет парус одинокий*, синтаксис художественного текста, образ детского сознания, русский модернизм.

Подростковая литература обычно основана на универсальной фабуле, которую можно назвать сценарием взросления: ребенок бежит из привычной обстановки и после ряда приключений возвращается обратно в новом качестве подростка, с изменившимся пониманием мира и себя. Обжитой мир — на этом основано развитие действия — пробуетеся на разрыв, проходит проверку установленная ранее система ценностей, идет расширение границ опыта, раздвижение границ «я». Конечно, каждая эпоха по-своему представляет, как надо строить человеческую жизнь, как изображать это на бумаге, но неизменно важнейшим моментом социализации молодого человека оказывается усвоение правил общества, к которому он принадлежит, и в частности языка, на котором это общество изъясняется.

Повесть *Белеет парус одинокий* (1936) В. Катаева рассказывает традиционную историю о том, как мальчик «из хорошей семьи» начала XX в. попадает в «дурное общество», которое вовлекает его сначала в азартные игры, а потом и в революционную деятельность. Петя Бачей проходит путь социализации: чтобы накрепко усвоить правила родной семьи, он на время уходит из-под ее влияния, расширяет свой социальный опыт, потом возвращается домой обновленным.

Повествователь в *Белеет парус одинокий*, по замечанию польской исследовательницы В. Супы, выступает как типичный человек

1930-х гг., владеющий набором исторических, идеологических представлений этого времени и оценивающий прошлое с позиций времени создания книги [Сура 1996, р. 69]. Повествование ведется преимущественно от третьего лица, но в текст введены оценки героев, при этом подчеркнута разница в освоении ими мира других, предопределенная воспитанием, социальным слоем, к которому они принадлежат, наконец, историческими обстоятельствами, меняющими жизнь буквально на глазах.

В глазах Пети, мальчика из «книжного» окружения, это изменение связано, прежде всего, с врывающимися в его жизнь новыми словами и понятиями, которые в тексте заключаются в кавычки. «Хозяин, конечно, был на войне, в Маньчжурии, и, очень возможно, в это время сидел в “гаоляне”, а японцы стреляли в него “шимозами”» [Катаев 1984, с. 125]; «Несколько раз Петя услышал не совсем понятное слово “свобода”» [Там же, с. 177]; «Красные, зеленые, лиловые, желтые полотнища света, поворачиваясь в тумане, падают на прохожих, скользят по фасадам, обманывают обещанием показать за углом что-то гораздо более прекрасное и новое. И все это утомительное разнообразие, всегда называвшееся “тезоименитство”, “табель”, “царский день”, сегодня называется таким же разноцветным словом “конституция”» [Там же, с. 180].

Для Пети взросление состоит в узнавании смысла незнакомых слов. Слова, взятые в кавычки, — знак чужой смысловой позиции, за которой стоит персонифицированный представитель чужого сознания — Взрослый, являющийся активным деятелем большой истории и определяющий круг значимых понятий эпохи. Отношения героя с этими словами однотипны: взрослые слова имеют власть в этом мире и постепенно утрачивают свою особость, закавыченность, увлекая Петю из мира домашнего, освоенного, в пространство улицы, города, социальных потрясений. Не случайно в повести приведено несколько случаев расшифровки смысла слов, преимущественно связанных с относящимися к революции реалиями. «Чем был он (участок. — *М. Л.*) до сих пор в Петинем представлении? Основательным казенным зданием на углу Ришельевской и Новорыбной, против Пантелеймоновского подворья. Сколько раз мимо него проезжал Петя на конке!... Участок оказался просто тюрьмой» [Там же, с. 154–155]; «Петя никак не предполагал, что в участке может “сидеть” столько людей. Их было не меньше сотни. Впрочем, они отнюдь не сидели. Одни стояли на подоконниках... другие выглядывали из-за них...» [Там же, с. 155].



Памятник Пете и Гаврику. Одесса, 2009 (фото автора).

Только в одном случае социальные обстоятельства (бой восстановивших рабочих с регулярными войсками) помогают герою «раскавычить» слово, связанное с метафизической областью бытия — смертью: «... среди всего этого движения, беспорядка, суеты, дыма лишь один человек — с желтым, равнодушным, восковым лицом и черной дыркой над закрытым глазом — был совершенно спокоен... Петя посмотрел на этого человека и вдруг понял, что это — труп» [Там же, с. 205]. Понять, что такое «труп» (слово до этого приводилось в тексте в кавычках), возможно для Пети в результате его участия в революционной деятельности, через которую осуществляется, по законам повести В. Катаева, развитие героя.

Писатель изображает, в первую очередь, социальное взросление ребенка, который в начале повести уверен в стабильности и правильности существующего мироустройства: «... в третьем классе ездить считалось “неприлично” в такой же мере, как в первом классе “кусалось”. По своему общественному положению семья одесского учителя Бачея как раз принадлежала к средней категории пассажиров, именно второго класса» [Там же, с. 33]. В течение года Петя понимает, что «жизнь — вовсе не такая веселая, приятная, беззаботная вещь, какой казалась еще совсем-совсем недавно» [Там же, с. 168]. По сути дела, это единственное глобальное открытие, совершенное героем за год, когда прежние жесткие устои мира расширили свои рамки, выведя часть доселе таинственных слов из кавычек. Катаев, задав такие правила повествования, кавычками подчеркивает возрастную принадлежность героя, слегка иронизируя над ним, или, напротив, поэтизируя особую сферу детства.

По-прежнему многие слова еще не освоены Петей как свои, не входят в его повседневный лексикон. «Она (электрическая лампочка. — *М. Л.*) была связана с волшебным словом “Эдисон”, давно уже в понятии мальчика потерявшим значение фамилии и приобретшим таинственное значение явления природы, как, например, “магнетизм” или “электричество» [Там же, с. 42]. Знаки чужого сознания Петя как бы выделяет в языке и в таком виде они фиксируются в речи повествователя. «Он почувствовал, что его спина покрылась “гусиной кожей”» [Там же, с. 248]; «В “центре” за зелеными столиками под большими полотняными зонтами сидели менялы и цветочницы» [Там же]; «Отец, который всегда с раздражительным презрением говорил о чинах и орденах, который никогда не носил форменного вицмундира и никогда не надевал своей “Анны третьей степени”» [Там же, с. 21]; «Предстояли еще и “малый ход вперед”, и “самый малый ход вперед”, и “стоп”, и “задний ход”, и “самый малый задний”, и еще множество увлекательнейших вещей, известных мальчику в совершенстве» [Там же, с. 35]. Для повествователя важно, что количество «таинственных» или чужих слов, существующих в сознании мальчика, не уменьшается со временем, напротив, их становится больше по мере освоения новых сторон жизни, причем все большее их число связывается с бурно развивающимися политическими событиями.

Очень важен в подобном словоупотреблении момент языковой игры. Ребенок осваивает мир в том числе и через язык, он учится обращаться с ним. До какого-то момента незнание не волнует его, но постепенно возникает потребность в назывании предметов. Так, младший брат Пети Павлик мечтает о новых словах, которые помогут ему точно выражать свои желания: «нужно будет не забыть немедленно по приезде попросить папу вырезать из чего-нибудь и пришить к ее (лошади. — *М. Л.*) глазам эти черные, очень красивые заслонки — неизвестно, как они называются» [Там же, с. 18].

Писателю важна мысль, что реальность опосредована языком и что воспринимает реальность ребенок только через призму языка. «Реальный мир» бессознательно строится на основе определенных языковых норм данной группы, явления действительности воспринимаются так или иначе в том числе и потому, что языковые нормы общества предполагают определенную форму выражения. Катаев предлагает читателям понять, что человек живет не только в объективном мире вещей и не только в мире общественной деятельности, как об этом много говорили в 1930-е гг. Ребенок форми-

руется под влиянием языка, который является средством общения в окружающей его среде. Язык помогает человеку сформировать особый «мыслительный мир» со своим пространством, включающим освоенные и неосвоенные территории, сакральные места и табуированные зоны. Способ выражения воссоздает особый тип мышления, и ребенок пытается, вобрав в себя чужие слова, определиться в этом мире, соотнести свой «мыслительный мир» с миром взрослых, воспринимаемый на определенном этапе его развития как авторитетный. В. Катаев фиксирует как своеобразие мышления ребенка, так и момент превращения им чужого в свое, опознания, дифференциации своего, внутреннего, кажущегося правильным, и чужого, которое для успешной адаптации в мире взрослых должно быть признано своим.

Так, В. Катаев неизменно подчеркивает «особость» восприятия мира детьми, что делает видимый ими мир несколько фантастическим и зыбким, не соответствующим тому, как его полагается видеть. Но он является абсолютно реальным для героев, поскольку их представления для них, вне сомнения, достовернее всего. «Петя никогда не бывал на Ближних Мельницах. Он только знал, что это ужасно далеко, “у черта на куличках”. Ближние Мельницы в его представлении были печальной страной вдов и сирот. Существование Ближних Мельниц всегда обнаруживалось вследствие какого-нибудь несчастья. Чаще всего понятие “Ближние Мельницы” сопутствовало чьей-нибудь скоростижной смерти. Говорили: “Вы слышали, какое горе? У Анжелики Ивановны скоростижно скончался муж и оставил ее без всяких средств. Она с Маразлиевской перебралась на Ближние Мельницы”». Оттуда не было возврата. Оттуда человек если и возвращался, то в виде тени, да и то ненадолго — на час, не больше. Говорили: «Вчера к нам с Ближних Мельниц приходила Анжелика Ивановна, у которой скоростижно скончался муж, и просидела час — не больше. Ее трудно узнать — тень». Однажды Петя был с отцом на похоронах одного скоростижно скончавшегося преподавателя и слышал дивные, пугающие слова, возглашенные священником перед гробом, — о каких-то “селениях праведных, идеже упокоются”, или что-то вроде этого. Не было ни малейшего сомнения, что “селения праведных” суть не что иное, как именно Ближние Мельницы, где как-то потом “упокоются” родственники усопшего. Петя живо представлял себе эти печальные селения со множеством ветряных мельниц, среди которых “упокоются” родственники усопшего» [Там же, с. 108–109].

В сознании Пети образ Ближних Мельниц существует совершенно отчетливо, хотя и имеет фантастические очертания. Причем В. Катаев показывает, как, из чего он рождается. Слухи, обрывки непонятных фраз, религиозные верования, прочитанные книги причудливо смешиваются, порождая фантастическую реальность, обретающую в сознании плоть ясного представления о «сказочно-грустной стране, откуда нет возврата» [Там же, с. 120]. Взросление, по В. Катаеву, как раз и состоит в том, что на место фантастических представлений приходят внешние впечатления, вытесняющие их, замещающие их точным знанием: «...долго еще в Петиней душе боролась призрачная картина воображаемых мельниц, где “упокояются”, с живой, разноцветной картиной железнодорожной слободки Ближние Мельницы, где жил братон Гаврика Терентий» [Там же]. Картина Ближних Мельниц, возникшая в сознании Пети, подается как реальная жизнь сознания героя, постепенно выправляющаяся и меняющаяся в сторону более адекватного отражения окружающего мира.

«Действительный мир» в зависимости от установки повествователя может занимать или не занимать привилегированное положение по отношению к «мыслительному». Но всегда, и это Катаев подчеркивает, есть несколько версий того, что кажется единственно реальным. Пафос подобного типа повествования состоит в том, что многое зависит от наблюдателя и свидетеля событий, истинное в одном тексте может быть ложным в другом. Ребенок живет в одном из возможных миров, имеющем только точечные соприкосновения с миром взрослых, поэтому он существует с этим миром в постоянном конфликте.

У Павлика всегда «свои, особые мысли» [Там же, с. 22], не совпадающие с мыслями взрослых. Ушедший из дома за передвижным театриком Павлик внезапно понимает, что заблудился: «Ребенка охватил ужас. Ему в голову внезапно пришла мысль, заставившая его задрожать. Ведь было решительно всем известно, что шарманщики заманивают маленьких детей, крадут их, выламывают руки и ноги, а потом продают в балаганы акробатам. О, как он мог забыть об этом! Это было так же общеизвестно, как то, что конфетами фабрики “Бр. Крахмальниковы” можно отравиться или — что мороженщики делают мороженое из молока, в котором купали больных. Сомнения нет. Только цыганки и другие воровки детей курят папиросы. Сейчас его схватят, заткнут тряпкой рот и унесут куда-нибудь на слободку Романовку, где будут выворачивать руки и ноги, превращая в маленького акробата» [Там же, с. 132].

Главной особенностью мира маленького мальчика является то, что у него есть некий совокупный экзистенциальный опыт, в рамках которого бессмысленно говорить о противопоставлении вымысла и реальности, где в равной онтологической определенности и неопределенности существуют братья Крахмальниковы, цыганы, которые похищают детей, Маразлиевская и выпавший зуб. Видение героя делает мир почти неузнаваемым, что, впрочем, совсем не отменяет наличия реальной действительности. Просто мир сознания и мир объективный сосуществуют, и границы их В. Катаев прочерчивает отчетливо, указывая, кому из героев что «казалось» или «чудилось».

Активное использование этого приема приходится на период государственной перестройки литературы, когда авторитетному слову предписывается высокая миссия формирования у читателя единообразных представлений о мире. Практически одновременно закавычивание воплощается в романе Л. Добычина *Город Эн* (1936) и повести В. Катаева *Белеет парус одинокий* (1936). Оба писателя, как заметил в свое время Ю. Щеглов [Щеглов 1993], подчеркивают таким образом особенности усвоения молодым человеком понятий взрослого мира.

В романе Л. Добычина повествование ведется от лица юноши, создающего своеобразную хронику своей жизни. В его сознание через кавычки входят новые политические реалии: «Мы не раз начинали и снова бросали учиться. Мы стали употреблять слова “митинг”, “черносотенец”, “апельсин”, “шпик”... У маман тоже бывали иногда забастовки. Она была “правая”, но бастовала охотно» [Добычин 1989, с. 65]. В отличие от В. Катаева, который указывает на некое, хотя и мнимое, социальное несовершенство героя, недостаток его включенности в настоящую взрослую жизнь, Л. Добычин фиксирует осознаваемую самим героем границу «взрослой» культуры, которую он не торопится переходить. Кавычки «защищают» его от экспансии чужого сознания, он не такой обучаемый, как катаевский Петя, поэтому одни и те же слова могут закавычиваться им много раз. По точному замечанию Ю. Щеглова, проанализировавшего эту особенность синтаксиса *Города Эн*, герой «прорывал потаенные и чистые ходы теплого и чистого индивидуального существования в косной среде» [Щеглов 1993, с. 73], кавычки помогают ему держать эту границу. Кроме того, для героя в кавычки заключены слова, принадлежащие авторитетной для него «книжной» культуре. «Ее смуглое лицо было похоже на картинку “Чичикова”. В воротах все остановились, чтобы расстегнуть “пажи”» [Добычин 1989, с. 17];

«Как демон из книги “М. Лермонтов”, я был один» [Там же, с. 83]; «Два раза я уже прочел “Достоевского”» [Там же, с. 72]. «Взрослые», то есть немаловажные для героя, но пока отделяемые им от себя слова, выражают известную церемонность его отношений с миром.

В более поздних произведениях, где история взросления героя преподнесена как вспомненная, преобладающим способом передачи чужого — но уже в ретроспекции — оказывается изображение ушедшего мира через устаревшие слова, которые явно или подразумеваемо закавычиваются. Так, одной из центральных тем *Разбитой жизни* В. Катаева является тема всепожирающего времени: оно уничтожает вещи, рассыпает их, превращает в мертвые слова, утратившие свое былое значение, нуждающиеся в пояснении. В оппозиции «тогда/теперь» эти мертвые слова превращаются, с одной стороны, в знаки навсегда ушедшего, а с другой — в знаки когда-то осваиваемого. «...босьяки — ... то, что тогда называлось “типы Максима Горького”» [Катаев 1985, с. 151]; «... в то время, когда я еще не достиг четырехлетнего возраста, керосин назывался петролем» [Там же, с. 167]; «бумажные обои — или, как тогда называли, шпалеры» [Там же, с. 276]; «считалось, правда, что у нее “холодная красота”» [Там же, с. 377].

Кавычки и пояснения, как и в *Белеет парус одинокий*, указывают на взрослые, «уличные», незнакомые, важные в баснословно далеком прошлом слова, которые было необходимо осваивать когда-то, но которые со временем утратили или изменили смысл и значение. Все эти «таракуцки», «дрыги», «тепки», «липки», «трамки» ушли в невозвратное прошлое вместе с «шапокляками», «петролем», «свечной бумагой» и «спичками» Ложкина. Часто повторяемые когда-то слова умерли вместе с явлениями, которые они обозначали. «Мертвые слова», «мертвые вещи» — своеобразные знаки сознания ушедшего времени и подсказки для памяти, они оживают, если вызывают живые чувства, или же, оставаясь мертвыми, но сохранившими форму слова, передают «дух» времени.

Аналогичную роль ушедшие слова, бывшие в свое время чужими, играют в книге Андрея Сергеева *Альбом для марок* (1994), в комментариях к которой автор не случайно говорит, что прошлое рассмотрено в ней как «коллекция людей, вещей, слов и отношений» [Сергеев 1997, с. 26], хотя архитектурно текст точно воспроизводит заданную еще Л. Толстым схему: детство, отрочество, юность. Именно детство, не поддающееся реконструкции, нередко воссоздаваемое по чужим, уже тоже изрядно подзабытым расказам, оказывается запечатленным во многом благодаря словам.

Формула Бродского «от великих вещей остаются слова языка» опредмечивается в романе Сергеева в слова или даже перечни «слов из детства» («микояновские котлеты», «буденныши», «белогвардейская Финляндия, фашистские Латвия, Эстония, Литва, панская Польша, боярская Румыния, Халхин-Гол, ПВХО, дегазация» [Там же, с. 31]), выделенные заглавными буквами или разрядкой. Знаки освоения чужого мнения, чужого опыта, единственные оставшиеся свидетели прошлого, они не лгут, не искажают истину. Оставшись в своем времени, они не могут изменять содержания, вкладываемого в них, но приобретают новый смысл ушедшего навсегда. Именно поэтому они превращаются в ключевые слова времени, места, жизни. Жизнь героя расплывается на чужих, заимствованных, устаревших, но более прочных, чем свои собственные, словах. «Слова языка», существующие как неорганичные, мертвые, включают в себя обороты личного существования, оказываются наиболее авторитетными аккумуляторами личного опыта.

Закавыченными или каким-то иным способом выделенными словами повествователь выделяет зону мира взрослых, включенную в зону сознания героя-ребенка. Кавычками подчеркивается граница внешнего и внутреннего текстов, воплощающая конфликт между обществом взрослых и ребенка за обладание большей легитимностью. В. Катаев, в 1930-е гг. продолжавший реализовывать в своих книгах модернистские тенденции, не просто подчеркивал отличия между «мыслительными мирами» людей, обладающих разным опытом, расшатывал однозначность авторитарного слова, показывал сложность его усвоения, но фиксировал на этом внимание ребенка-читателя.

Источники

- Добычин Л.* Город Эн. М.: Худож. лит., 1989.
Катаев В. Белеет парус одинокий // Катаев В. Собр. соч.: в 10 т. М.: Худож. лит., 1984. Т. 4.
Катаев В. Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона // Катаев В. Собр. соч.: в 10 т. М.: Худож. лит., 1985. Т. 8.
Сергеев А. Omnibus. М.: Новое лит. обозрение, 1997.

Исследования

- Щеголов Ю.* Заметки о прозе Леонида Добычина // Лит. обозрение. 1993. № 7/8.
Sura W. Tworszocie Walentina Katajewa. Bialystok, 1996.